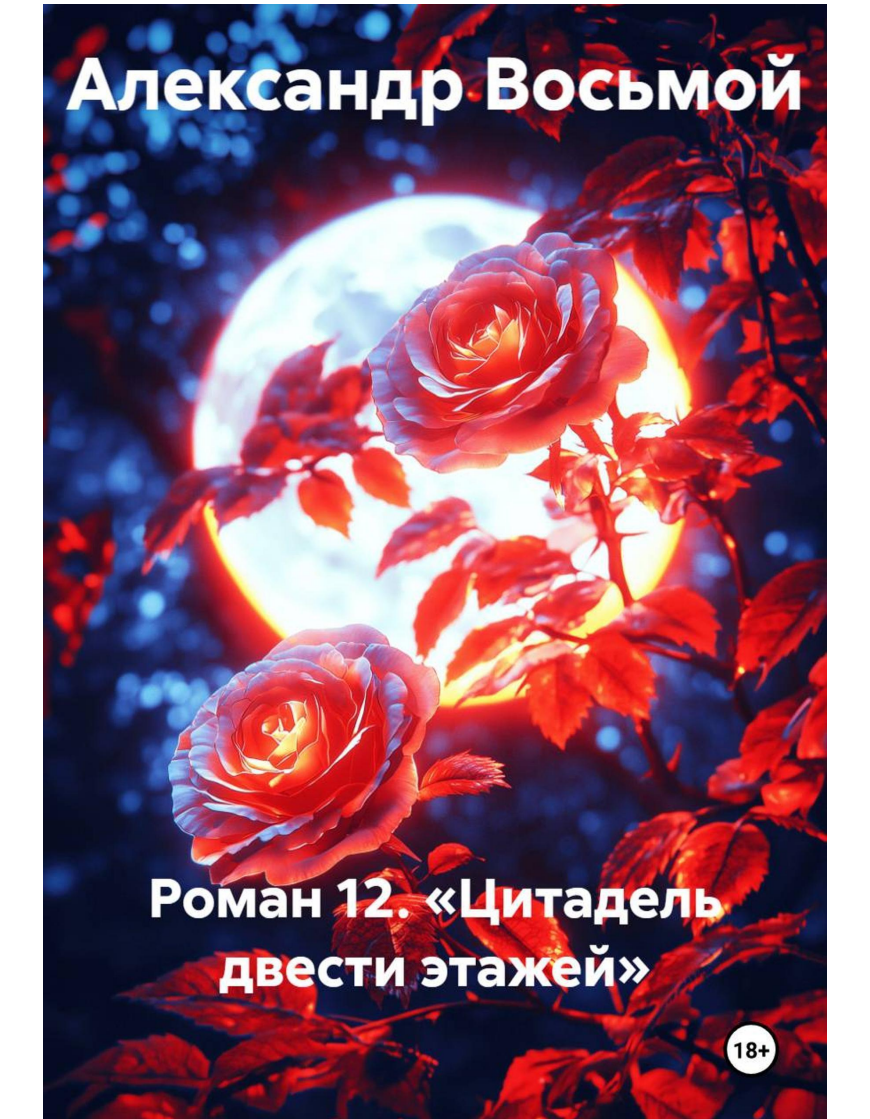




Александр Восьмой

Роман 12. «Цитадель
двести этажей»

18+

Александр Восьмой

Роман 12. «Цитадель двести этажей»

<https://litres.ru/74467659>

SelfPub; 2026

Аннотация

Тринадцатое сентября. Наталия выходит из университета и не доходит до машины. Очнувшись, она обнаруживает потолок высотой в три этажа, тёплый пол и окно, за которым — лишь облака. Она на сто двадцатом этаже. Цитадель живёт: стены дышат теплом, кухня готовит по голосу, библиотека хранит каждый учебник по логике, который она когда-либо цитировала. Оптима встречает её в белом свитере и говорит: «Вы обещали прочесть мне лекцию. Я — тот самый студент, который не усвоил материал.» Это книга первого плена — гнева, переговоров, осторожного любопытства и одного случая, когда Наталия случайно называет его по имени без отчества.

Александр Восьмой

Роман 12. «Цитадель двести этажей»

Глава 1. Асфальт и небо

Тринадцатое сентября пахнет чужим кофе и мокрыми листьями. Наталия Новикова выходит из университета с конспектом по модальной логике под мышкой, набирает маму и говорит: «К ужину», — тоном, не допускающим споров. Мама спорит. Наталия закатывает глаза, улыбается, кладёт телефон в карман пальто.

Осень в этом году не жалеет золота. Каштаны вдоль проспекта горят так, будто кто-то пролил на них янтарь. Навигатор в наушниках недовольно ворчит: «Развернитесь через двести метров». Наталия не разворачивается. Она знает этот маршрут наизусть — три квартала, свороток за аптекой, парковка.

Она не доходит.

Мир складывается, как страница книги. Быстро. Беззвучно. Без свидетелей. Последнее, что она фиксирует сознанием: асфальт подходит ближе, чем должен. Конспект по модальной логике раскрывается веером, *ráginas* рассыпаются по тёплому сентябрьскому бетону. Кто-то, может быть, кричит. Она не слышит.

Потолок.

Сначала — потолок. Он так высок, что Наталия думает: собор. Потом: музей. Потом: невозможно. Высота в три этажа, матовый потолочный свет, мягкий, как лунный, но теплее. Она лежит на чём-то, что не заслуживает слова «кровать» — это скорее облако, которому придали форму. Тёплый пол дышит под босыми ступнями, когда она спускает ноги. Пальто исчезло. Конспект — нет. Он на тумбочке, аккуратно собранный, страницы по порядку.

Наталия встает. Подходит к окну.

За окном — облака. Только облака. Белые, плотные, медленные, как мысли засыпающего человека. Ни земли. Ни крыш. Ни проспекта с каштанами. Только белое безмолвие и где-то далеко внизу — нечитаемое, невидимое, невозможное.

Она на сто двадцатом этаже.

Комната не пустая. Она живая. Стены тёплые на ощупь — Наталия прикладывает ладонь и чувствует слабую пульсацию, будто здание дышит. Кухонная зона отвечает на голос: она машинально говорит «чай», и из ниши поднимается чашка, уже сладкий, уже нужной температуры, будто кто-то знал. Библиотека занимает целую стену — и Наталия, несмотря на всё, подходит. Корешки знакомые. Учебник по логике, второй курс. Монография Чёрча. Сборник, из кото-

рого она цитировала на семинаре в марте. Каждый учебник, который она когда-либо раскрывала, стоит здесь, ровно, по алфавиту, будто кто-то собирал их не для декорации, а для неё.

Дверь открывается без стука.

Он входит в белом свитере с закатанными рукавами. Высокий. Лицо — то, которое не срисуешь с одного взгляда, потому что каждый взгляд находит что-то новое: линию скул, тень под нижней губой, ресницы, которые слишком длинные для мужского лица. Он не улыбается. Он смотрит на неё так, будто она — единственный предмет в комнате, который не требует объяснений.

— Доброе утро, — говорит он. Голос низкий, тёплый, без угрозы. — Вы обещали прочесть мне лекцию.

Наталия молчит. У неё есть как минимум семь вопросов, и ни один не помещается в горло.

— Я — тот самый студент, который не усвоил материал, — добавляет он, и уголок его рта дёргается. Не улыбка. Что-то раньше улыбки.

Она сжимает конспект. Бумага тёплая — от пола, от комнаты, от его присутствия, она не понимает.

— Вы похитили меня, — говорит она ровно. Так, как говорила бы студенту, который не подготовился.

— Я пригласил вас, — отвечает он. — Просто вы не успели согласиться.

Молчание.

Облака за окном сдвигаются. Свет меняется. Где-то глубоко в стенах здание вздыхает — тёпло, ровно, будто ему тоже неловко.

— Меня зовут Оптима, — говорит он.

Имя странное, короткое, мягкое на конце. Оно звучит как обещание, которое ещё не успело стать угрозой.

— Вы можете звать меня по имени, — продолжает он. — Или по отчеству. Или не звать вовсе. Я подожду.

Наталия смотрит на него. На окно. На библиотеку, собранную будто по списку её жизни. На чашку чая, которая уже остывает, и была ли она вообще?

— Я хочу домой, — говорит она.

— Знаю, — отвечает Оптима. — Но сначала — лекция. Вы обещали.

Она не помнит, чтобы обещала. Но конспект в её руках тёплый, потолок над головой невозможный, а внизу, за облаками, существует мир, который вчера был единственным, а сегодня стал одним из двух.

— Хорошо, — говорит Наталия Новикова, преподаватель модальной логики, человек, который не верит в чудеса, но не может отрицать факты. — Садитесь.

Оптима садится. Садится так, будто собирается слушать её вечно.

Глава 2. Сто двадцатый

Она просыпается не от холода.

Потолок уходит вверх на три этажа — так высоко, что первые секунды Наталия думает: она ослепла и видит молоко. Потом фокус возвращается. Матовый свет, тёплый, рассеянный, без источника. Будто кто-то растворил солнце в штука-турке и забыл выключить.

Тёплый пол дышит ей в пятки. Не метафора — пульсация. Ровная, медленная, как у спящего зверя. Наталия сидит на краю чего-то невесомого, ступни на тёплом камне, и слушает, как здание живёт. Где-то глубоко в стенах — гул. Низкий, почти неуловимый, как работающее сердце, спрятанное за двумястами этажами.

Она подходит к стеклу.

Облака. Только облака. Белые, плотные, они ползут мимо окна снизу вверх — нет, это она движется. Цитадель плывёт. Наталия прижимает ладонь к стеклу и чувствует холод снаружи и тепло изнутри, и между ними — слой толщиной в палец, который разделяет её мир и невозможный мир. Внизу — ничего. Ни земли, ни крыш, ни проспекта с каштанами, ни мамы, которая ждёт к ужину. Только белый, бездонный, невозможный белый.

Она на сто двадцатом этаже.

Наталия считает. Триста метров. Может, больше. Цитадель — двести этажей, она видит это в логике коридора, который уходит из комнаты: потолок понижается к краям, как у пирамиды, и где-то наверху, выше её, ещё восемьдесят этажей. Она — посередине. Точно посередине. Как пациент в

больнице, которого положили в центральную палату.

Она одета не в своё. Тёмно-серое, мягкое, лёгкое — ткань, которой она не знает названия. Не платье, не пижама. Что-то между. Она не помнит, как переодевалась. Пальто, джинсы, ботинки — исчезли. Конспект — нет. Он на тумбочке. Собранный, ровный, страницы по порядку. Кто-то трогал его. Кто-то собирал.

Наталия хватает конспект, прижимает к груди. Бумага тёплая — от пола, от стен, от воздуха, который не пахнет ничем. Ни хлоркой, ни пылью, ни страхом. Никак. Как будто запах отменили.

— Чай, — говорит она в пустоту. Просто чтобы проверить.

Из ниши в стене поднимается чашка. Керамическая, тёмная, без ручки — такие она видела в японских фильмах. Чай сладкий. Нужной температуры. Она не говорила «сладкий». Она не говорила «горячий». Кто-то знал.

Наталия пьёт. Руки не дрожат. Она преподаватель модальной логики, и модальная логика учит: если из (А) следует (В), а (В) ложно, то (А) ложно. Если мир, в котором она похищена, существует, и мир этот невозможен, то невозможное — возможно. Вывод принимается. Дальше.

Библиотека занимает стену. Целую стену — от пола до потолка, три этажа книг, и лестница-спираль ведёт к верхним полкам. Наталия подходит. Снимает корешок пальцем.

Учебник по логике. Второй курс. Её второй курс.

Монография Чёрча. Тот самый экземпляр, с её карандашными пометками на полях. Она узнаёт свой почерк — топорливый, с наклоном влево, слово «противоречие» написано так, что «и» всегда задирает ножку.

Сборник статей. Мартовский семинар. Она цитировала Крипке, и одна студентка на заднем ряду заснула, а одна — записывала. Здесь — тот сборник. Тот экземпляр. С её закладкой — билет в театр, который она использовала, потому что ничего другого не было под рукой.

Наталия стоит перед библиотекой и чувствует, как внутри поднимается то, что не имеет отношения к страху. Это хуже страха. Это любопытство.

Дверь открывается без стука — но мягко. Будто извиняется.

Оптимка входит в белом свитере. Тот же свитер — или другой, неотличимый. Рукава закатаны до локтей. Кисти рук открыты, и Наталия замечает: на безымянном пальце нет кольца. Она замечает и злится, что заметила.

— Вы спали девять часов, — говорит он. — Комната не будила вас. Я просил.

— Ты просил, — повторяет она. Без «вы». Без отчества. Просто — ты. Она понимает это через секунду после того, как говорит. Кровь приливает к лицу. Но она не исправляет. Исправлять — значит признать, что он задел её.

Оптиме не улыбается. Но что-то в его лице меняется — тень уходит, свет прибывает, будто кто-то внутри него повернул реостат на пол-оборота.

— Я просил, — подтверждает он. — Здание слушается меня. Но не только.

— А кого ещё?

— Вас. Если попросите — научитесь.

Наталия ставит чашку. Керамика стучает о камень — единственный резкий звук в этом тёплом, невозможном месте.

— Я не хочу, чтобы здания меня слушались. Я хочу домой.

— Знаю.

— И?

— И — сначала лекция.

Она смотрит на него. Он стоит у двери, не входя дальше. Дистанция — четыре шага. Он держит её. Не потому что боится. Потому что знает, что она боится. И уважает это.

Четыре шага.

Наталия открывает конспект. Страница сорок третья — модальности деонтического типа. То, что она читала последним.

— Садитесь, — говорит она.

Оптиме садится. На пол. Скрестив ноги, у стены, напротив неё. Как студент. Как тот студент, которым он назвался.

Она начинает читать. Голос вначале сухой, как пробка.

Но на третьей странице входит в ритм — знакомый, университетский, безопасный. Слова о долженствовании, о возможных мирах, о том, что значит «разрешено» и что значит «необходимо». Она говорит и чувствует, как комната слушает. Не Оптима — комната. Стены чуть теплеют, когда она замолкает, будто просят: ещё. Свет меняется — мягче, когда она на паузе, ярче, когда она увлечена. Цитадель слушает лекцию по модальной логике.

Оптима молчит. Смотрит. Не перебивает. Не записывает. Только смотрит — так, будто каждое слово, которое она проносит, кладёт ему на ладонь что-то тёплое и живое.

На семнадцатой странице Наталия останавливается. Не потому что устала. Потому что понимает: он не слушает логику. Он слушает её.

— Вы не усвоили материал, — говорит она. И слышит в собственном голосе то, чего там не было в университете. Мягче. Тише. Будто она говорит не студенту.

— Я усвоил, — отвечает Оптима. — Я усвоил, что один мир может быть необходимым, а другой — возможным. И что вы в моём мире — необходимость, а не возможность.

Молчание.

Облака за окном останавливаются. Цитадель замирает. Даже пол перестаёт дышать. Будто все двести этажей задержали дыхание.

Наталия закрывает конспект.

— Это плохая логика, — говорит она.

— Это не логика, — отвечает Оптима. — Это то, что между нами.

Она не отвечает. Она знает, что если ответит — что угодно, хоть слово, — она вступит в переговоры, из которых нет чистого выхода. Она преподаватель. Она умеет молчать. Она молчит.

Оптима встаёт. У двери оборачивается.

— Завтра — следующая лекция?

— Завтра я хочу домой.

— Завтра — следующая лекция, — повторяет он, не как вопрос. Как факт. Будто он уже прочитал то, что она скажет через двенадцать часов, и знает ответ.

Дверь закрывается. Без стука. Беззвучно. Только тёплый воздух шевелит страницу конспекта — сорок третья, модальности деонтического типа. «Долженствование», — читает Наталия. И думает: долженствование — это когда знаешь, что нужно сделать, и не делаешь, и всё равно продолжаешь знать.

Она стоит у окна. Облака плывут. Цитадель дышит. Чай остывает на тумбочке, так и не выпитый до дна. Где-то внизу, за белым, за невозможным, за двенадцатью часами и одним телефонным звонком, мама ждёт к ужину.

Наталия открывает конспект на сорок четвёртой странице.

Глава 3. Стены, которые дышат

Цитадель не пустая. Она живая.

Наталия узнаёт это на третий шаг от кровати. Пол под правой ногой теплее, чем под левой, — будто здание почувствовало, где она ступает, и подогнало температуру под каждую пятку. Она делает шаг к стене — и стена чуть выдаётся навстречу, выпуклостью, тёплой, как бедро спящего. Она отступает — стена возвращается. Медленно. Беззвучно. Как будто ей неловко.

Потолок тоже живой. Когда Наталия садится, он опускается — на полметра, на метр — и свет становится гуще, ближе, теплее. Когда встаёт — уходит вверх, расширяется, и свет рассеивается, делается дневным, хотя солнца за окном нет, только облака. Будто потолок читает её. Будто она — единственная книга в комнате, которую здание листает без спроса.

— Где я? — говорит Наталия вслух. Не крик, не шёпот — голос преподавателя, который задаёт вопрос аудитории.

Комната не отвечает.

Тишина — не пустая, а выжидающая. Тишина, которая что-то решает.

Наталия стоит у кухонной стойки и смотрит на облака. Проходит минута. Может, две. Она уже решает, что тишина — это и есть ответ, что здание глухое, что она разговаривает с бетонной коробкой, — когда на стойке появляется чай.

Чашка. Та же — тёмная, без ручки, японская. Но чай другой. Не тот, который она заказывала вчера. Мятный. Горя-

чий. С листиком, который плавает кругами, медленно, как облака за окном. Мятный чай. С мятой. Точно так, как она заваривает дома: два листика, не три, вода не кипяток, а на грани, сахар по краю чашки, чтобы растворялся медленно.

Наталия не говорила «мята». Она не говорила «сахар по краю». Она не говорила «два листика». Кто-то знал.

Она берёт чашку. Чай обжигает — правильным обжигом, тем, который будит, а не ранит. Она пьёт. Мята настоящая. Сахар правильный. Температура — как дома.

«Это галлюцинация, — думает Наталия. — Гипоксия. Травма. Я лежу на асфальте, и мозг конструирует мне мятный чай и потолок в три этажа, потому что не справляется с реальностью».

Она решает: если это галлюцинация, дверь не существует. Если не галлюцинация — существует.

Она идёт искать дверь.

Комната больше, чем казалась ночью. Углы уходят вдаль, коридор открывается за библиотечной стеной — длинный, тёмный, тёплый, со светом, который зажигается впереди и гаснет позади, будто дорожка, которую стелют под ноги и тут же убирают. Наталия идёт по нему. Стены дышат. Потолок понижается. Лестница — вниз, каменная, спиральная, с перилами из чего-то, что не металл и не дерево, а тёплое и чуть пружинит под пальцами.

Дверь.

Она стоит в конце коридора — тяжёлая, тёмная, без руч-

ки. Наталия толкает. Дверь не поддаётся. Тянет — не поддаётся. Она ищет замок — нет. Щеколду — нет. Кнопку, панель, сканер — ничего. Дверь гладкая, тёплая, и на уровне груди — углубление, ладонь. Наталия прикладывает руку. Поверхность чуть вибрирует, будто проверяет, но не открывает.

Дверь заперта. Не замком. Словом.

Наталия говорит:

— Откройся.

Дверь молчит.

— Открой. Пожалуйста. Открой, ну давай. Откройся, я приказываю.

Дверь молчит. Вибрация под ладонью затихает. Здание перестаёт дышать. Тишина — другая, не выжидающая, а виноватая. Будто Цитадель хочет, но не может. Будто слово, которое нужно, существует, но Наталия его не знает.

Она бьёт по двери ладонью. Раз. Два. Глухой звук, тёплый, без отдачи. Дверь впитывает удар, как подушка.

— Ладно, — говорит Наталия. — Ладно.

Она разворачивается и идёт назад. Свет зажигается впереди, гаснет позади. Стены дышат. Пол тёплый. Коридор ведёт её обратно — и она замечает то, чего не видела ночью: на стенах, на уровне глаз, тонкие линии. Не рисунок — рельеф. Буквы? Нет. Символы. Незнакомые, мягкие, без углов, как будто написаны водой. Они слабо светятся — теплее стен, теплее пола, — и когда Наталия проходит мимо,

symbols вспыхивают ярче и гаснут. Будто здание показывает ей язык, на котором говорит. Будто учит.

Она возвращается в комнату. Чашка на стойке пуста — и исчезает, пока она моргает. На её месте — тарелка. Суп. Тёплый, густой, с травами, которых она не знает, и с запахом, от которого сжимается в животе нечто, не имеющее отношения к голоду. Это запах дома. Не её дома — какого-то. Того, который был до. Того, который она не помнит, но тело помнит.

Наталия не ест. Она садится у окна. Облака плывут. Цитадель дышит.

Она думает: дверь заперта словом. Кухня знает её привычки. Стены читают по ней, как по открытой книге. Библиотека собрана по её жизни. И где-то в этом здании, выше на восемьдесят этажей или ниже на сто двадцать, ходит человек в белом свитере, который назвал себя студентом и посмотрел на неё так, будто она — единственная лекция, которую стоит слушать вечно.

— Оптима, — говорит она в пустоту. Тихо. Почти беззвучно. Просто чтобы попробовать имя на вкус.

Имя мягкое. Короткое. Оно заканчивается так, как выдох, — без упора, без сопротивления, как слово, которое не хочет заканчиваться, но не умеет продолжаться.

Комната теплеет. Не свет — температура. На полградуса. Может, на один. Будто кто-то услышал. Будто имя — это и есть то слово, которого Наталия не знала у двери. Будто зда-

ние уже знает её лучше, чем она сама.

Наталия прижимает колени к груди. Облака за окном темнеют — медленно, как закат, которого нет. Где-то внизу, за белым, за невозможным, мама, наверное, перестала звонить и начала бояться. А Наталия сидит на сто двадцатом этаже, в комнате, которая дышит и слушает, и ждёт, и знает её привычки, и кормит, и не отпускает, — и впервые за тринадцать часов думает не о том, как выбраться, а о том, что будет, когда он придёт снова.

Она злится на себя за эту мысль.

Но мысль не уходит. Она садится рядом, тёплая, как пол, и остаётся.

Глава 4. Белый свитер

Он приходит из коридора, которого нет.

Наталия к этому моменту уже час обходит комнату по периметру, считает шаги, проверяет стены. Сорок два шага по длинной стене, двадцать восемь по короткой. Четыре угла, каждый — мягкий, скруглённый, будто здание не выносит прямых линий. Окно — одно. Дверь — заперта словом. Кухонная стойка выдаёт ей второй чай, она не просила. Библиотека молчит. Облака плывут. Всё — как было, и всё — невыносимо.

Она стоит спиной к стене, прижавшись лопатками к тёплому камню, и пересчитывает книги на верхней полке — бессмысленно, просто чтобы занять мозг. Двадцать четыре,

двадцать пять, двадцать шесть — и стена за спиной сдвигается.

Наталия отскакивает. Сердце — в горло. Она оборачивается: там, где секунду назад был камень, — проём. Тёмный, тёплый, с лёгким сквозняком, который пахнет ничем — тем же ничем, что заполняет всю Цитадель, чистым, как стерильная марля.

Из проёма выходит он.

Белый свитер. Рукава закатаны. Она уже видела это — но вчера, в первый раз, она смотрела на потолок, на окно, на облака, на невозможность. Сегодня она смотрит на него.

Высокий. Рост — она бы сказала метр восемьдесят пять, но в Цитадели пропорции врут, потолок уходит вверх, и фигура кажется длиннее, чем есть. Плечи — не широкие, не узкие. Шея — открытая, без воротника. Руки — те самые, из первой встречи, кисти открытые, безымянный палец без кольца. Она снова это замечает. Снова злится.

Лицо. Вот что бесит. Лицо — то, которое не срисуешь, потому что каждый раз, когда она думает, что запомнила, — внутри вспыхивает новая деталь. Линия челюсти, твёрже, чем ожидаешь от мягкого свитера. Тень под скулой. Нос — прямой, но с лёгкой асимметрией, будто его ломали и собрали на миллиметр не так. Глаза — тёмные. Не карие, не чёрные — тёмные, как окно ночью, когда за стеклом ничего, и ты не знаешь, есть ли там мир или только отражение.

Он не улыбается. Не нападает. Не угрожает. Он стоит в

проёме, который только что был стеной, и смотрит на неё так, будто она — единственный предмет в комнате, который не требует объяснений.

— Доброе утро, — говорит он.

— Какой час? — спрашивает Наталия. Не потому что ей важно. Потому что нужно спросить что-то, что не «кто вы» и «зачем» и «отпустите».

— Не знаю, — отвечает Оптима. — Цитадель не считает время. Только вы.

Наталия открывает рот. Закрывает. Это, пожалуй, самое странное, что она слышала за последние сутки, а сутки были неленивые на странности.

— Вы обещали прочесть мне лекцию, — говорит он. — Я — тот самый студент, который не усвоил материал.

Те же слова. Те же, что в первый раз. Будто он репетировал. Будто фраза — не приветствие, а ключ, которым он открывает дверь в разговор, и дверь эта — не в стене, а в ней.

— Я не помню, — говорит Наталия. — Я не помню, чтобы я вам что-то обещала.

— Весна, — говорит Оптима. — Апрель. Шестое. Третья пара, аудитерия триста двенадцать. Вы разбирали парадокс Рассела.

Наталия молчит. Апрель. Третья пара. Триста двенадцатая. Она помнит — не потому что запомнила, а потому что парадокс Рассела она разбирает каждый семестр, это ритуал, это её любимая лекция, та, ради которой она приходит на

работу раньше.

— На последнем ряду, — продолжает он, — сидел человек. Не ваш студент. Чужой. Вы не заметили.

— Не заметила, — подтверждает Наталия. И холодеет. Потому что вспомнила: апрель, третий ряд с конца, кто-то был. Она отметила — на секунду, краем глаза — что в аудитории лишний человек. Мужчина. Тёмная куртка. Она подумала: проверяющий, кто-то из кафедры, и забыла. Забыла, потому что лекция началась, и Рассел не ждёт.

— Вы сказали, — продолжает Оптима, и его голос меняется — не громкость, а температура, он становится тише, будто он не рассказывает, а цитирует по памяти, — вы сказали: «Логика — это не про истину, а про честность».

Наталия замирает.

Она это говорила. Она говорит это каждый семестр. Это — её фраза, не из учебника, не из Чёрча, не из Крипке. Её. Она придумала её на втором курсе преподавания, когда студентка на первом ряду спросила: «А в чём тогда смысл, если всё равно возможных миров бесконечно?» — и Наталия, не задумываясь, ответила: «Логика — это не про истину, а про честность.» Студентка записала. Наталия — нет. Она не считала это формулой. Она считала это breathing, репликой, чем-то, что сказали и забыли.

Он не забыл.

— Я запомнил, — говорит Оптима. — Я запомнил всё. Вы стояли у доски, левая рука в кармане, правая — мел. Вы

дважды стирали одно и то же уравнение и переписывали, потому что вам не нравился наклон. Вы сделали паузу на двадцать третьей минуте и посмотрели в окно — на секунду, не больше, будто проверили, есть ли ещё мир за стеной. Потом продолжили. Вы никогда не оборачивались на последний ряд.

— Вы что, следили? — Голос Наталии — ровный. Как на экзамене, когда студент списывает, и она уже знает, но ещё не решила, что делать.

— Я слушал, — отвечает Оптима. — Есть разница.

— Для меня — нет.

— Я знаю. Поэтому я здесь.

Молчание. Облака за окном замедляются. Цитадель дышит реже — будто тоже слушает.

— Вы похитили меня, — говорит Наталия. Третьи сутки. Третий раз. Она говорит это каждый раз, как формулу, как проверку: если мир ещё безумен, фраза сохранит смысл.

— Я пригласил вас, — отвечает он. Тот же ответ. Те же слова. Но сегодня — с паузой между «пригласил» и «вас», на четверть секунды длиннее, чем нужно, будто он думает, прежде чем врать, и решает не врать.

— Я не могу уйти, — говорит Наталия.

— Можете. Когда будете готовы.

— Что значит «готова»?

— Это значит — когда вы захотите остаться не потому, что заперты, а потому, что выбрали.

Наталия смотрит на него. Он стоит в проёме, который минуту назад был стеной. Свитер белый, лицо — то, которое она не может запомнить, руки — те, которые она не должна замечать. Он говорит вещи, которые в логике называются кругом: ты свободна, когда выберешь несвободу. В модальной логике это — $(\Box(\Diamond p \rightarrow p))$. В жизни это называется заложничеством с хорошим освещением.

— А если я никогда не выберу? — спрашивает она.

— Тогда дверь останется заперта, — отвечает Оптима. — А я — останусь. Я обещал ждать. Я умею ждать.

— Сколько?

— Столько, сколько нужно.

Он говорит это без пафоса. Без надрыва. Как говорят: «Я умею заваривать чай». Как говорят: «Я дышу». Будто ожидание — не подвиг, а функция. Будто он запрограммирован на это — на неё — и остановка не предусмотрена.

Наталия берёт конспект. Открывает наугад. Страница шестьдесят первая — теория возможных миров Льюиса. Та, на которой она каждый семестр говорит: «Каждый мир изолирован. Из одного мира нельзя увидеть другой. Можно только верить, что он есть.»

Она читает. Голос — сухой. Здание слушает. Стены теплеют. Потолок опускается. Оптима садится на пол, у стены, скрестив ноги, в белом свитере, и слушает.

На двенадцатой странице Наталия поднимает глаза.

Он смотрит. Не на конспект. Не на стену. На неё. На её

рот, который произносит слова. На её руки, которые держат бумагу. На неё — целиком, не разбирая на части, как смотрят на закат: не потому что анализируешь, а потому что нельзя иначе.

— Вы не слушаете, — говорит она.

— Слушаю, — отвечает он. — Каждое слово.

— Вы слушаете не то.

— Я слушаю вас. Логика — это не про истину. Логика — про честность. Вы сами сказали. Я честен. Просто не в том, в каком вы хотите.

Наталия закрывает конспект. Бумага шуршит — единственный резкий звук. Здание вздрагивает.

— Завтра, — говорит она.

— Завтра, — подтверждает он.

Он встаёт. Уходит в проём. Стена смыкается за ним — без звука, без следа, будто его не было. Только тёплый воздух шевелит страницы конспекта. Только тень — на полсекунды — остаётся на стене, силуэт в белом свитере, и тает.

Наталия стоит посреди комнаты. Цитадель дышит. Облака плывут. Чай на стойке остывает — мятный, правильный, с сахаром по краю.

Она открывает конспект на шестьдесят второй. И думает: «Каждый мир изолирован. Из одного мира нельзя увидеть другой».

Но она видит.

Глава 5. Переговоры

На четвёртые сутки Наталия перестаёт ждать и начинает действовать.

Она просыпается, пьёт чай — мятный, правильный, два листика, сахар по краю, — и решает: сегодня не лекция. Сегодня — переговоры. Она преподаватель. Она умеет вести дискуссию, когда оппонент слабее. Она умеет вести дискуссию, когда оппонент сильнее. Она умеет вести дискуссию, когда оппонент — двестиэтажное живое здание и человек в белом свитере, который запоминает каждое её слово.

Она садится у окна. Ждёт.

Он приходит через час. Может, через два — время в Цитадели течёт, как облака за окном, без часов, без спешки. Стена расходится, и Оптима входит. Сегодня — не белый свитер. Серый. Тёмный, почти графитовый. Рукава не закатаны. Он оделся иначе. Он готов. Он знает, что сегодня не лекция.

— Выпустите меня, — говорит Наталия. Без вступления. Без «доброе утро». Голос — ровный, как скальпель.

Оптима не садится. Стоит у проёма. Кивает.

— Я не могу, — отвечает он.

Не «не хочу». Не «не буду». «Не могу». Наталия слышит разницу. В модальной логике разница между «не хочу» и «не могу» — это разница между $(\neg \Box p)$ и $(\Box \neg p)$. Первое — отсутствие необходимости. Второе — необходимость отсутствия. Он говорит второе. Он говорит: невозможно, а

не желательно.

— Объясните, — требует Наталия.

Он молчит. Три секунды. Пять. Цитадель дышит. Потолок не двигается — будто здание тоже замерло, ждёт, как на экзаме-не, когда преподаватель задал вопрос, и ответ либо есть, либо его нет, и отговорки не засчитываются.

— Цитадель построена для вас, — говорит Оптима. — Не для меня. Для вас. Двести этажей. Сто двадцатый — ваш. Остальные — тоже ваши, но этот — центр. Сердце. Я — сбо-ку.

— Тюрьма, — говорит Наталия.

— Лаборатория, — отвечает он. — Место, где вы работа-ете, читаете, думаете. Где вас никто не зовёт на заседания кафедры. Где вам не нужно варить кофе, потому что он уже есть. Где телефон не звонит. Где мама не ждёт к ужину, по-тому что ужин — здесь, и он правильный.

Мама. Он сказал «мама». Он знает про маму. Наталия чувствует, как внутри что-то сжимается — не от страха, от точности. Он знает про маму. Он знает про чай. Он знает про конспект. Он знает про апрель. Он знает про неё — не всё, но достаточно, чтобы каждый удар попадал.

— Вы следили за мной, — говорит она. Не спрашивает. Утверждает.

— Я изучал вас, — отвечает Оптима. — Есть разница.

— Для меня — нет.

— Я знаю. Вы уже говорили. Но я отвечу всё равно: я не

следил. Я слушал. Я был на трёх ваших лекциях. Осень, весна, лето. Я читал ваши статьи — три, в «Логических исследованиях» и одна в совместном сборнике. Я знаю вашу аргументацию против квантификации по возможным мирам. Я знаю, что вы не любите Хинтикку. Я знаю, что вы пишете ночью и что ваши лучшие мысли приходят между тремя и пятью утра, когда вы не спите, и что вы потом забываете их, потому что не записываете.

Наталия молчит. Всё — правда. Всё. До последней запятой. Она не любит Хинтикку. Она пишет ночью. Она забывает, потому что не записывает.

— Откуда вы знаете про три и пять? — спрашивает она. Голос — тише, чем она планировала.

— Ваш телефон. Время активности. Я не читал сообщения. Я смотрел, когда экран включается.

— Это ещё хуже.

— Да, — соглашается он. Просто — да. Без оправдания. Без «но». Без «зато». Да, хуже. Я знаю. Мне — хуже. Но я не отступлю.

Наталия встаёт. Подходит к окну. Облака плывут — те же, что вчера, что позавчера, что в первый день. Белые. Бесконечные. Без земли. Она стоит спиной к нему и говорит в стекло:

— Чего вы хотите?

— Одной лекции, — отвечает Оптима. — Одной. Полной. До конца. Не сорок три страницы из конспекта, а вся — от

определений до выводов. Так, как вы читаете, когда забываете, что в аудитории люди. Когда вы говорите для себя. Когда вы честны.

— А потом?

— Потом — решите вы.

— Решу — что?

— Останетесь или уйдёте. Дверь откроется. Я не держу. Цитадель не держит. Слово, которое запирает дверь, — это не моё слово. Оно — ваше. Вы скажете его, когда будете готовы. Не раньше.

Наталия оборачивается.

— Это шантаж, — говорит она. — Вы запираете меня словом, которого я не знаю, и говорите, что я свободна.

— Это не шантаж, — отвечает Оптима. — Это переговоры. Я дал вам всё: тепло, книги, чай, тишину. Я не прошу любви. Я не прошу, чтобы вы смотрели на меня так, как я смотрю на вас. Я прошу одну лекцию. Одну. Это — моя цена. Ваша цена — дверь.

— Почему лекция?

— Потому что на лекции вы — настоящая. Не вежливая, не правильная, не дочь, не преподаватель, не коллега. Вы — логика. Вы — то, что вы говорите, когда говорите честно. Я хочу это услышать. Один раз. До конца.

Наталия стоит у окна. Свет из-за облаков — мягкий, серый, будто день за стеклом не решил, быть ему или нет. Оптима — у стены. Четыре шага между ними. Он не сокраща-

ет. Он держит дистанцию, как обещал, как держит с первого дня, и в этом — то, что бесит больше всего: он не нарушает правил. Он их не устанавливал. Он их соблюдёт.

— Я не верю вам, — говорит Наталия.

— Знаю, — отвечает он.

— Я не верю, что дверь откроется.

— Откроется.

— Я не верю, что вы отпустите.

— Отпущу.

— Тогда зачем всё это? Двести этажей. Библиотека. Чай. Облака. Зачем?

Оптима молчит. Долго. Цитадель дышит. Потолок чуть опускается — не к ней, к нему. Будто здание наклоняется, чтобы шепнуть. Он не шепчет. Он говорит — тихо, но в тишине Цитадели это слышно, как heartbeat:

— Потому что если я отпущу вас сейчас — вы забудете. Через неделю. Через месяц. Вы вернётесь к конспектам, к маме, к чаю на кухне, к лекциям, на которых я не сижу на последнем ряду. Вы забудете, что я есть. А я — не забуду. Я — не умею. И мне нужно, чтобы вы знали, что я существую. Не чтобы любили. Чтобы знали.

Наталия смотрит на него. Серый свитер. Тёмные глаза. Руки вдоль тела, открытые, незащитные — не угрожающие, не умоляющие. Руки человека, который отдал все карты и ждёт.

Она садится. Берёт конспект. Открывает на первой странице.

— Одна лекция, — говорит она. — До конца. Потом — дверь.

— Потом — дверь, — повторяет он.

— И вы уйдёте.

— Я уйду, если вы попросите.

— А если не попрошу?

Молчание. Облака останавливаются. Цитадель не дышит. Впервые за четверо суток — абсолютная, стеклянная тишина, в которой слышно, как где-то глубоко, за стенами, за этажами, за двумястами уровнями камня и тепла, что-то гудит — не механически, не электрически, а живо, как сердце, которое бьётся потому, что не умеет не биться.

— Если не попросите, — говорит Оптима, — я останусь. Но решать — вам.

Наталия открывает рот. Закрывает. Она хотела сказать «хорошо», но «хорошо» — это согласие, а она не согласна. Она хотела сказать «нет», но «нет» — это отказ, а она уже слушает. Она говорит:

— Садитесь.

Оптима садится. На пол. У стены. В сером свитере. Скрестив ноги. Как студент. Как тот, кто ждёт лекции, которую будут слушать вечно.

Наталия начинает читать.

Голос — сначала сухой, как в первые разы. Но на третьей странице — входит в ритм. На седьмой — забывает про него. На двенадцатой — забывает про дверь. На двадцатой — за-

бывает про облака.

Она читает о модальностях. О возможных мирах. О том, что истина — относительна, а честность — нет. Цитадель слушает. Стены теплеют. Потолок опускается — к ней, к голосу, к словам, как к огню.

Оптима не шевелится. Не записывает. Не перебивает. Он смотрит — и в его глазах, тёмных, как окна ночью, Наталия видит отражение: не себя — свой свет. Тот, который горит, когда она говорит о логике и забывает, что в комнате есть кто-то, кроме неё и истины.

На сорок первой странице она останавливается. Не потому что устала. Потому что поймала его взгляд — и на четверть секунды забыла, что говорит.

— Продолжайте, — говорит Оптима. Голос — хриплый. Будто он долго молчал. Или долго дышал, но забывал как.

— Дочитаю завтра, — отвечает Наталия.

Она не говорит «завтра» как факт. Она говорит «завтра» как обещание. И понимает это. И не исправляет.

Оптима встаёт. Уходит. Стена смыкается. Тень тает.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.